

*Добро и богатство в его доме,
и его милостыня стоит вечно*

Теилим 112; 3

Помню, как дед мой, в длинном, почти до земли, габардиновом плаще, зажав губами пустой мундштук, ходил, разглядывая товар на тбилисской барахолке, возле моста через Куру. Вокруг на расстеленных тряпках стояли самовары, хрустальные вазы, картины, написанные в подражание Пиромани, потемневшие зеркала в стиле модерн, фотографические портреты Сталина, латунные подсвечники, мельхиоровые подстаканники, и все прочее, созданное за целый век и успевшее подернуться пленкой увядания.

Иногда дед останавливался и рассматривал. Раз он приценился к шахматам без ладьи и двух пешек, выставленным маленьким седовласым гурийцем. Гуриец заломил неслыханную цену, дед решил ее сбить, и они стали спорить, постепенно входя в раж.

Это продолжалось так долго, что я успел заскучать и принялся рассматривать соседний развал — там продавался гобелен, на котором прекрасный махараджа в тюрбане похищал из серала пышнотелую красотку в розовом лифчике и кисейных шароварах. В конце концов, дед довел почтенного гурийца до белого каления, и тот стал совать деду в руки свои шахматы, добавив к ним бюстик Дзержинского, с криком:

— Бэри так, забирай, только уходи! И это тоже бэри, все бэри!

Но дед не взял. Ушел, качая головой, сказав мне чуть позже:

— Что за интересные люди эти грузины, слушай?

Так мы и бродили бесцельно, пока в один момент дед не заметил крупный медный котел, покрытый зеленоватыми разводами, лежавший среди всяческого лома. Заглянув в этот котел, дед достал из кармана связку ключей и принялся скоблить его ключом. Лицо его посветлело, и, не торгуясь, он выложил ушлому молодому тбилисцу всю запрошенную сумму, и котел перешел к нам.

Потом мы сидели в хинкальной близ вокзала, якобы той самой, где Есенин с Табидзе ели хаш и пьяный грузинский классик зашвырнул свою кепку прямо в казан. Был вечер, за соседним столиком пировали упитанные сваны, розовые, как младенцы после купанья, от водки, и невероятно громко, перебивая друг друга, обсуждали свои дела. Поев хинкали, мы пили чай, и дед мой, выдержав небольшую паузу, жестом фокусника извлек из кулака шоколадную конфету. Я сделал круглые глаза, хоть знал наизусть этот трюк, и даже видел, как дед покупал эту конфету у армянки, владелицы кондитерского рундука.

Потом, когда мы шли к автобусу, я попросил купить надувной шарик, и дед произнес с неудовольствием:

— С ума сошел? Тебе что, пять лет?

Я ответил, что в шарике тбилисский воздух, и значит, часть этого города останется с нами. Дед покачал головой, но купил, ничего не говоря, и мы, с котлом и шаром, поехали в Баку.

В пути я спросил деда, зачем он скоблил котел. Дед вытащил котел на свет и спросил:

— Смотри внимательно, что видишь?

Приглядевшись, я увидел, что на стенках котла — плохо различимые из-за пленки окислов — нанесены уровни в виде насечек, и напротив каждого идет надпись, нацарапанная еврейскими буквами.

— Вот посмотри, тут написано: рис и плов, баранина и плов, и так далее, да. До этого места нужно сыпать рис, если плов делаешь, до этого — баранину класть. А тут написано, сколько шафрана надо, сколько лука. Ты даже не знаешь, каких денег это стоит! Сюда смотри!

Я посмотрел на дно котла, куда указывал дубленный временем дедов палец, и увидел, что все дно котла исписано.

— Тут говорится, что в субботу нельзя готовить, а еще пожелание здоровья и счастья. Вот как люди раньше делали, с пониманием делали!

Позже, уже дома, дед долго и аккуратно чистил попку медной проволокой, полировал особым, мелким песочком, до тех пор, пока котел не засверкал. Странно, но ни разу, на моей памяти, мы в нем не готовили. Иногда, когда дома никого не было, я снимал с антресолей этот предмет, сияющий, как золотой самовар русского царя, и подолгу рассматривал, водя пальцами по надписям на дне и стенках, представляя его набитым пиратскими червонцами или ломящимся от мусульманских сокровищ из «1000 и 1 ночи».

Племянник деда, по имени Адик, положил на котел глаз, и, бывая у нас, он нудно его выклянчивал, придумывая все новые поводы заполучить, — то врачи велели ему есть из медной посуды, то мать его, Сара-ханум, якобы видела котел во сне — но дед не отдавал. Адик, при всей своей феноменальной жадности, даже пытался этот котел купить, причем каждый раз назначал новую цену. Предлагал он небрежно, как бы между делом, но по особым искрам, горевшим в его выпуклых, обычно невыразительных глазах, было ясно, что вещь его крайне интересует. Но дед не соглашался.

Наш сосед по двору, пожилой сапожник, простодушный человек по имени Манашир, не выпрашивал котел и никогда не пытался купить, но всегда им восхищался. Дед в такие моменты снимал котел с полки и читал надписи Манаширу, не знавшему древнееврейского, причем, на моей памяти, звучало это всегда по-разному,

но сапожник этого не замечал, улыбался, цокал языком и хвалил старое время, в котором жили мастера с таким пониманием и любовью к людям. Манашир жил один, жена его умерла несколько лет назад, сыновья разъехались, появляясь лишь время от времени и привозя внуков. В такие моменты мы наблюдали, как сапожник, сидя во дворе, баюкает очередного потомка, напевая что-то вроде: «Йося-мося кушала, Хая-маямушала». Был он не очень старым, моложе деда, но оставшись один, начал сдавать. Иногда Манашир забывал снять тфилин¹ с головы после молитвы и так и ходил с ним по двору или подстригал бороду только с одной стороны. По всему было видно, что он болеет.

Когда у нас на безоблачном юге выпадает снег, меняется мир. Снегу высыпает необыкновенно много, без всякой подготовки он течет сплошным потоком на пейзажи сухой перспелой осени. За считанные часы он заносит округу — исчезают стоящие машины, кусты обращаются в исполинские снежки, а пальмы — в грибы-дождевики на тонких ножках. Через недолгое время застывают трамваи и становятся голубоватыми слизнями, подсвеченными изнутри, и балконные сети из девичьего винограда превращаются в подобию крыш. Замерзает газ в трубах и пропадает электрический свет — провода в нашем старом квартале во всех направлениях тянутся от деревянных столбов к разнокалиберным изоляторам, вбитым в стены, и во время снегопада эта паутина обязательно рвется. В домах становится холодно и воцаряется чуланная тьма. Я любил эти минуты, когда смотришь из окна на улицу, охваченную легким фосфорным сиянием, а звезды над городом после окончания снегопада становятся велики, их высыпает так много, что совсем не остается свободного неба.

Как раз в день такого снегопада было обрезание Адикиного сына, и мы отправились туда — в его фотоателье на окраине города, где устраивался праздник. Мы долго шли через слепящую белизну, поскольку при попытке выехать машина наша застряла

¹Тфилин (ивр) — две небольшие кожаные коробки на ремнях, укрепляемые на лбу и левой руке, содержащие написанные на пергамене отрывки (парший'от) из Торы.

во дворе. По дороге мы обсуждали щекотливый вопрос, касавшийся женщины по кличке Дедеахуна, которую боялся весь наш квартал. По слухам, она наводила порчу. Дед полагал, что Дедеахуна без приглашения на празднике не появится, я же отчего-то думал, что эта жуткая старуха придет все равно.

Витрины фотоателье были занавешены одеялами, внутри были накрыты столы, а по стенам висели новогодние гирлянды и шары. Войдя, мы застали дискуссию на ту же тему — придет или не придет — впрочем, большинство не сочло эту тему важной. Женщины разносили еду, а за столом был весь цвет нашего района. Пока я расправлялся с кисло-сладкими голубцами, дед, отойдя в сторонку, перешептывался с родней. Через некоторое время в зал вкатили коляску с младенцем, украшенную искусственными розами и лентами, и оставили у стены.

В зале было человек двадцать мужчин, среди них и Манашир, сидевший рядом со своими двумя сыновьями, сильно исхудавший, так, что плечи на его пиджаке повисли, но при этом бодрый и довольный. Почти все гости были мне знакомы, кроме родственников Адикиной жены, прибывших из Кубы и смотревшихся откровенно по-сельски.

Заиграли музыканты, начался праздник, и в разгар веселья дед мой встал со стаканчиком водки:

— Когда мужчина видит своего родившегося первенца, что происходит с мужчиной? Мужчина счастлив? Да, счастлив и счастлив бесконечно. Но есть ли в этом счастье и некоторое количество грусти? Да, есть! Потому как ты понимаешь, глядя на своего сына, что отодвигаешься чуть-чуть подальше от земли и начинаешь быть ближе к Творцу. Теперь сына будут любить больше, чем тебя, и все твои будут его любить больше, чем тебя, а ты сам для себя никогда больше не ребенок, потому что ты теперь родитель. Как говорит наш дорогой раб Габо, когда мужчина видит лицо первенца своего, то мужчина понимает, что пришла его смена на этой земле. Так положено у Бога в Его мире. И сейчас наш Адик, которого «милó»² я помню, как будто это было вчера,

² Мило (джуур.) — обрезание.

самый счастливый человек на свете, и мы все — счастливые люди, мы будем радоваться и будем веселиться, как положено тем, в чьем доме явилось счастье!

Тут дед выпил водку под одобрительные восклицания и закусил острой капустой. В этот самый момент настезь, вместе с табличкой «закрото», распахнулась входная дверь, и с летящими снежинками к нам вбежала незнакомая женщина. Она встала посреди зала, оглядываясь и отряхивая снег с платка, тут воцарилась тишина, лишь по рядам пронеслось ее имя, вернее, кличка, «Дедеахуна», замолкла даже музыка, лишь один Адик, сидевший с братьями жены спиной к дверям, появления ее не заметил и продолжал громко обсуждать какие-то денежные дела. Женщины, бывшие в зале, звеня посудой, побежали в фотолабораторию, выполнявшую в тот день роль кухни.

Я с ужасом смотрел на гостью, она оказалось совсем не старой, точнее, возраста ее было не понять, поскольку лицо было совершенно гладким, без морщин, а волосы выкрашены хной. Тщательно ее разглядывать я побоялся и уставился в тарелку, успел только заметить, что на лице Дедеахуны не было бровей, они были выщипаны и жирно и несимметрично нарисованы высоко на лбу, там, где брови никогда не растут.

Дедеахуна легкой походкой подошла к Адикю, встала за ним, и громко сказала:

— Не позвал? Думал, зло тебе сделаю? А вот сейчас я еще подумаю! Что, жалко старуху накормить? Жадный ты на деньги! А для кого ты не жадный? Для любовниц ты!

При этих словах и без того выпуклые глаза Адика еще больше выкатились, став похожими на две черные виноградины, и он замолчал на полуслове. Дедеахуна принялась обходить стол, приблизившись к моему деду, она произнесла:

— Отдыхаешь, Симан-Тов? Столько лет живешь, а без рюмки тебя никто не помнит. Сын спился, и внук пьет с дедом. Старуха все знает! Пей, пей. Тебя уже в аду ждут. Там вина много!

Тут я дернулся, но в этот момент дед сжал мне руку, я посмотрел на него, и увидел, что он улыбается. Пройдя дальше, где сидел Бадал, почетный гость, заведующий продуктовым магазином, Дедеахуна вдруг взвизгнула, да так, что Бадал вздрогнул

и выронил вилку. Дойдя до места, где сидел Габо Элигулашвили, обязательный гость на всех празднествах, старуха произнесла:

— А вот и наш тбилисский мудрец! Скажи, мудрый человек, где в твоих книгах написано, что можно сироту обижать? Утощения лишать? Давай, скажи! Сказки свои расскажи! У нас в квартале живет великий мудрец, а в мире его никто не знает! Праведник! В квартале все пьют и развратничают, злодей на злодее, а наш праведник одобряет! Пример подает, несмотря на годы, да?

Габо достал спичку и принялся, с каменным лицом, ковырять ей в ухе.

И тут Дедеахуна увидела коляску и, смеясь, пошла к ней, периодически выделывая руками и ногами танцевальные элементы лезгинки, так быстро пошла, что никто не успел ее остановить.

— Сейчас посмотрим, кто родился. Уай, какой красавчик! Вылитый Адик, такой же красавчик! Дай, балашка, старуха тебя поцелует! — сказала она с ликованием, запустив в коляску обе руки. Я снова вопросительно посмотрел на деда и увидел, что тот продолжает улыбаться. Тут раздался оглушительный визг, и Дедеахуна побежала к выходу, сбив по дороге стопку тарелок со стола. Налетев на треногу фотоаппарата, накрытую сверху тканью, старуха едва ее не опрокинула и побежала в другую сторону, забыв, откуда входила. Наконец, кто-то догадался распахнуть дверь, и она выскочила на улицу.

Когда все стихло, раздался хохот — смеялся дед, закрыв лицо руками, смеялся Габо, обнажив розовые беззубые десны, заливался Манашир, периодически стряхивая слезы с лица, и через некоторое время смеялся весь зал, и Адик, и гости из Кубы, и показавшиеся в дверях проявочной женщины.

А дело было в том, что ребенка, конечно, спрятали, а в коляске была мартышка по имени Лиора, та самая Лиора, что трудилась в ателье моделью для съемок с детьми. Ее, туго запеленав и нацепив чепчик, положили вместо младенца. В тот момент, когда старуха схватила, как ей казалось, ребенка, Лиора, разозленная до невозможности, зашипела и пустила в ход зубы.

Праздник продолжился с прежним размахом, заиграли музыканты, у молодежи началась даже лезгинка, освобожденную

обезьянку гладили и успокаивали, и казалось, никаких проблем больше не будет, как вдруг сыновья Манашира вскочили с мест, и разнеслось: «Манашир упал, Манашир упал». Сапожнику сделалось плохо, его стали приводить в чувство, кто-то кинулся звонить в неотложку, и веселье прекратилось снова.

Пока неотложка добиралась через заснеженный город, мы стояли вокруг старика, которого положили на стулья, а тот виновато улыбался и махал рукой, мол, все хорошо, садитесь и продолжайте.

Через две недели, когда его выписали из больницы, мы с дедом пошли к нему. Старый сапожник сидел на кровати, сведя брови домиком, и медленно раскачивался. Перед ним стояла нетронутая тарелка манной каши, приготовленной невесткой. Сама невестка, крупная, красивая девушка, гремела посудой на кухне, в комнате, несмотря на день, горела лампа и беззвучно работал телевизор.

— Почему не кушаешь? — спросил дед.

— Не могу, слушай! Вкуса вообще не чувствую.

— А ты настоящий плов с бараниной кушай, такой вкус почувствуешь!

— Э-э, кто приготовит? Некому, слушай, — с этими словами Манашир посмотрел на висящую над телевизором фотографию покойной жены.

— Ладно, да, сейчас я тебе наш казан принесу, с ним любой человек тебе плов приготовит, — сказал дед и послал меня за котлом.

Вернувшись, я увидел, что сапожник настолько разволновался, что даже встал с кровати.

Я поставил котел на стул, и сапожник принялся водить рукой по блестящим бокам этого изделия, превращенного неизвестно по чьей прихоти в кулинарную книгу.

— Симан-Тов, ты что, мне его даришь?

— Нет, поцеловать принес.

— Сейчас я ей скажу, пусть готовит, — Манашир махнул рукой в сторону кухни, где орудовала невестка.

— И правильно, пусть готовит, для чего еще они нужны! — сказал дед, улыбаясь.

Поговорив с нами еще немного, Манашир заклевал носом и вскоре лег, дед пододвинул стул с котлом поближе к кровати, и вскоре сапожник задремал, держась рукой за подарок, а мы пошли домой.

Пока мы пересекали двор, дед закурил папиросу, думая о чем-то, и мне показалось, что ему жаль котла. По правде говоря, мне-то самому не очень хотелось дарить такую замечательную вещь.

— А как он прочтет рецепты? — не выдержав, прервал я дедовское молчание.

— Никак не прочтет.

— А тогда как плов ему будут готовить?

Дед посмотрел на меня, выпустил дым из ноздрей, и сказал:

— Это, на самом деле, не самое главное. Главное другое.

— А что главное?

— Щедрость в твоей душе, — ответил дед.

Через несколько дней сапожник умер, а еще через год — выпал снег, да такой, что город буквально утонул в нем. Электричество отключилось, хлеб в магазинах пропал, машины встали, а мы сидели дома при свете керосинки, и дед, нацепив очки, читал мне вслух историю царя Шауля, потерявшего голову от зависти. Я глядел на улицу, окна домов которой превратились в цепочки керосинных светляков, уходящие вдаль, и думал о том, что старость, в отличие от детства и молодости, имеет начало, но не имеет строго определенного конца. Еще я думал, что когда-нибудь стану стариком. Тогда у меня обязательно будет внук, и мы поедем с ним в Тбилиси, самый красивый город на свете. Там, около моста, где шумит мутно-зеленая Кура, на старом базаре, среди подсвечников и подстаканников, мы обязательно найдем наш котел.